

ОСТРИЕ БРИТВЫ

Трудно пройти по острию бритвы; так же труден, говорят мудрецы, путь, ведущий к спасению.

Катха Упанишады

Глава первая

I

Никогда еще я не начинал писать роман с таким чувством неуверенности. Да и романом я называю эту книгу только потому, что не знаю, как иначе ее назвать. Сюжет ее беден, и она не кончается ни смертью, ни свадьбой. Смертью кончается все, так что она — естественное завершение любого сюжета, но и брак — неплохая развязка, и напрасно умудренные скептики издеваются над так называемым счастливым концом. Не что иное, как здравый инстинкт подсказывает рядовому человеку, что, поженив героев, автор вполне может поставить точку. Если мужчина и женщина после каких угодно перипетий обретают друг друга, значит, они выполнили свою биологическую функцию, и интерес переключается на то поколение, что идет им на смену. А я вот оставляю моих читателей в неведении. Эта книга содержит мои воспоминания о человеке, с которым я непосредственно сталкивался лишь через большие промежутки времени, и я мало осведомлен о том, что он делал между нашими встречами. Как беллетрист, я бы мог, вероятно, заполнить эти пробелы достаточно убедительно и таким образом сделать мое повествование более связным; но мне не хочется этим заниматься. Я хочу писать только о том, что мне доподлинно известно.

Много лет тому назад я написал роман под названием «Луна и грош». В нем я вывел знаменитого французского художника Поля Гогена и, пользуясь правом писателя на вымысел, сочинил целый ряд эпизодов, чтобы полнее обрисовать характер, который создал, исходя из скудных фактических данных, бывших в моем распоряжении. В настоящей книге я и не пробовал повторить этот опыт. Чтобы не ставить в неловкое положение людей, которые еще живы, я только дал действующим лицам моей повести вымышленные имена и вообще позаботился о том, чтобы их нельзя было узнать. Человек, о котором я пишу, не знаменит. Возможно, он никогда не прославится. Возможно, уйдя из жизни, он оставит о своем пребывании на земле не более заметный след, чем камень, брошенный в реку, оставляет на поверхности воды. Тогда если мою книгу вообще будут читать, то только как литературное произведение, более или менее интересное. Но возможно и то, что влияние, которое оказывает на окружающих образ жизни, избранный моим героем, и необычайная сила и прелесть его характера будут распространяться все шире, и со временем, пусть через много лет после его смерти, люди поймут, что между нами жил человек поистине выдающийся. Тогда станет ясно, о ком я пишу в этой книге, и те, кому захочется хоть что-нибудь узнать о ранней поре его жизни, найдут здесь чем поживиться. Думаю, что для биографов моего друга книга эта при всех ее недочетах послужит ценным источником информации.

Разговоры, приведенные в этой книге, не следует воспринимать как стенограммы. Я никогда не записывал того, что говорилось в тот или иной день, но у меня хорошая память на все, что меня лично касается, и, хотя разговоры эти я воспроизвожу своими словами, суть

сказанного, думается мне, передана верно. Выше я отметил, что ничего в этой книге не сочинил; здесь требуется некоторая оговорка. Я допустил ту же вольность, какую допускали историки со времен Геродота: вложил в уста моих персонажей речи, которых сам не слышал и не мог слышать. Сделал я это с той же целью, что историки, — чтобы придать живость и правдоподобие сценам, которые, будь они только описаны, оставили бы читателя равнодушным. Я хочу, чтобы мои книги читали, и не считаю зазорным по мере сил этого добиваться. Сообразительный читатель с легкостью обнаружит, где именно я прибегаю к этой уловке, и его дело принять ее или отвергнуть.

Приступаю я к этой работе с опаской и по другой причине: люди, о которых мне предстоит говорить, — по большей части американцы. Знание людей — вообще дело трудное, а по-настоящему знать можно, мне кажется, только своих соотечественников. Ведь ни один человек не существует сам по себе. Люди — это и страна, где они родились, и ферма или городская квартира, где они учились ходить, и игры, в которые они играли детьми, и сплетни, которые им довелось подслушать, и еда, которой их кормили, школа, где их обучали, спорт, которым они увлекались, поэты, которых читали, и Бог, в которого верили. Все это и сделало их такими, как они есть, и все это нельзя усвоить понаслышке, а можно постичь, только если сам это пережил. Если это часть тебя самого. И оттого, что представителей другой нации знаешь только по наблюдениям со стороны, очень трудно изобразить их убедительно на страницах книги. Даже такому внимательному и тонкому наблюдателю, как Генри Джеймс, к тому же сорок лет прожившему в Англии, не удалось изобразить ни одного англичанина так, что-

бы в него можно было до конца поверить. Сам я никогда и не пробовал писать ни о ком, кроме англичан, разве что в нескольких коротких рассказах — в этом жанре можно обойтись без углубленных характеристик. Даешь читателю общие контуры, а подробности пусть додумывает сам. Могут спросить, почему, если я превратил Поля Гогена в англичанина, я не поступил так же с героями этой книги. Ответить на это просто: потому что не мог. Они тогда стали бы другими людьми. Я не утверждаю, что они — американцы, какими те себя видят; они — американцы, увиденные глазами англичанина. Я не старался передать особенности их речи. Английские писатели, пытающиеся это делать, терпят неудачу точно так же, как американские писатели, когда пытаются изобразить, как говорят в Англии. Особенно много опасностей таит в себе разговорный язык. В своих английских вещах Генри Джеймс много им пользовался, но всегда не совсем так, как англичане, почему и диалог у него не производит впечатления естественной легкости, к чему он стремился, а сплошь и рядом режет слух английскому читателю.

II

В 1919 году, по дороге на Дальний Восток, я оказался в Чикаго и по причинам, не имеющим никакого касательства к этой повести, задержался там недели на три. Незадолго до того вышел в свет один мой роман. Роман имел успех, и не успел я прибыть в Чикаго, как ко мне явился интервьюер. На следующее утро у меня зазвонил телефон. Я поднял трубку.

— Это говорит Эллиот Темплтон.

— Эллиот? Я думал, вы в Париже.

— Нет, я здесь, гощу у сестры. Приезжайте к нам сегодня завтракать.

— С удовольствием.

Он уточнил время и дал мне адрес.

С Эллиотом Темплтоном я был знаком пятнадцать лет. Сейчас, когда ему шел шестой десяток, это был высокий, представительный мужчина с правильными чертами лица и густыми волнистыми волосами, поседевшими лишь настолько, чтобы придать ему еще более аристократический вид. Одевался он безупречно. Галстуки покупал у Шарве, а костюмы, обувь и шляпы — в Англии. В Париже он снимал квартиру на левом берегу Сены, на фешенебельной улице Сен-Гийом. Люди, не любившие его, говорили, что он делец, однако он гневно отметал такое обвинение. У него был вкус, были знания, и он не отрицал, что в минувшие годы, когда он только что поселился в Париже, ему случалось давать советы богатым коллекционерам, пополнявшим свои собрания картин; а когда благодаря своим связям в обществе он узнавал, что какой-нибудь обедневший высокородный француз или англичанин не прочь продать первоклассную картину, охотно сводил его со знакомым экспертом из американского музея, которому, как ему было известно, как раз требовался высокий образец работы данного мастера. Во Франции, да и в Англии тоже, имелось немало старинных семейств, в силу обстоятельств вынужденных расставаться то с подписным столиком-буль, то с конторкой собственноручной работы Чиппендейла, и представители этих семейств бывали рады познакомиться с культурным, прекрасно воспитанным человеком, который мог им в этом помочь, деликатно и без огласки. Естественно было предположить, что Эллиоту кое-что перепало от этих сделок, но упоми-

нать об этом было бы бестактно. Злые языки утверждали, что в его квартире любая вещь продается и что стоит ему угостить богатых американцев отличным обедом с марочными винами, как из его гостиной исчезают два-три ценнейших рисунка либо вместо секретера-маркетри появляется новый, лакированный. Когда его спрашивали, куда пропала та или иная вещь, он очень правдоподобно объяснял, что она его не вполне удовлетворяла и он обменял ее на другую, более высокого качества. И добавлял, что скучно все время иметь перед глазами одно и то же.

— *Nous autres americains*, — мы, американцы, — говорил он, — любим разнообразие. В этом и наша сила, и наша слабость.

Некоторые американцы, наезжавшие в Париж, уверяли, что знают про него решительно все, что он из очень бедной семьи, и если сейчас живет так широко, то лишь потому, что сумел проявить большую ловкость. Я не знаю, сколько у него было денег, но титулованный домовладелец, безусловно, брал с него за квартиру недешево и произведений искусства в ней хватало. По стенам висели рисунки великих французских художников: Ватто, Фрагонара, Клода Лоррена, на паркетных полах раскинулись во всей своей красе ковры из Савоннери и Обюссона, а в гостиной стоял обитый вышитым атласом гарнитур в стиле Людовика XV, такой изящный, что в свое время им и впрямь, как он утверждал, могла владеть мадам де Помпадур. Во всяком случае, Эллиот мог позволить себе не искать заработка и вести жизнь, по его мнению, подобающую джентльмену; а откуда у него взялись на это средства — о том поминали только те, кто был готов с ним раззнакомиться. Избавленный, таким образом, от материальных забот, он целиком от-

дался своей главной страсти — продвижению по общественной лестнице. Деловые связи с неимущими вельможами как во Франции, так и в Англии добавились к тем первым зацепкам, которые у него оказались, когда он молодым человеком прибыл в Европу с рекомендательными письмами. Некоторые из этих писем были адресованы американкам, породнившимся с европейской знатью, и тут помогло его происхождение: он был из старой виргинской семьи, и один из его предков по материнской линии поставил свою подпись под Декларацией независимости. У него была приятная внешность, он хорошо танцевал, недурно стрелял, прекрасно играл в теннис. Ему везде были рады. Он не скупился на цветы и на коробки дорогих шоколадных конфет; у себя принимал редко, но всегда с выдумкой. Богатым американкам нравилось, когда их возили в богемные ресторанчики Сохо и в бистро Латинского квартала. Он всегда был готов к услугам и выполнял любые просьбы, даже самые обременительные. Не жалея сил, он ублажал стареющих дам и вскоре стал вхож в многие чопорные особняки на правах общего любимца, *ami de la maison*¹. Любезности его не было границ. Он и не думал обижаться, если его приглашали в последнюю минуту, лишь потому, что кто-то другой из приглашенных подвел хозяев, и за столом его можно было посадить рядом с очень скучной старухой, не сомневаясь, что он будет с ней отменно остроумен и обходителен.

За два-три года он перезнакомился со всеми, с кем стоило познакомиться молодому американцу, — как в Лондоне, куда он отправлялся в конце сезона и от-

¹ Друга дома (*фр.*).

куда осенью ездил гостить в загородные поместья, так и в Париже, где он обосновался. Дамы, которые первыми ввели его в общество, с удивлением обнаруживали, как быстро разросся круг его знакомств. Это вызывало у них смешанные чувства. С одной стороны, им было приятно, что их молодой протеже не обманул ожиданий, с другой — немного досадно, что он так близко сошелся с людьми, с которыми сами они поддерживали лишь чисто официальные отношения. Хотя он по-прежнему бывал им полезен и всегда готов услужить, невольно закрадывалась мысль, не использовал ли он их как ступеньки в своей светской карьере. Они подозревали в нем сноба. И не без оснований. Конечно, он был сноб и даже не стыдился этого. Он готов был претерпеть любой афронт, снести любую насмешку, проглотить любую грубость, лишь бы получить приглашение на раут, куда жаждал попасть, или быть представленным какой-нибудь сварливой старой аристократке. Он был неутомим. Наметив себе добычу, он преследовал ее с упорством ботаника, разыскивающего редкостную орхидею, невзирая на наводнения, землетрясения, лихорадки и враждебных туземцев. Война 1914 года позволила ему окончательно утвердиться. Он был зачислен в санитарную часть, служил сперва во Фландрии, потом в Аргонне, а через год вернулся с красной ленточкой в петлице и был назначен на ответственный пост в Красном Кресте в Париже. К тому времени он уже был состоятельным человеком и щедро жертвовал на добрые дела под эгидой разных влиятельных лиц. Он всегда был готов поставить свой безупречный вкус и организаторские способности на службу любого благотворительного начинания, достаточно широко разрекламированного. Он стал членом двух самых недоступных

парижских клубов. Для высокопоставленных французских дам он был теперь *se cher Elliott*¹. Он достиг желанных высот.

III

Я познакомился с Эллиотом, когда был заурядным молодым писателем, и он не удостоил меня вниманием. У него была отличная память на лица, и, встречаясь со мной, он сердечно пожимал мне руку, однако не выказывал желания сойтись со мной ближе, а если я попадался ему на глаза, скажем, в опере, где он был с каким-нибудь титулованным приятелем, мог и вовсе меня не заметить. Но потом я как-то сразу приобрел известность как драматург и убедился, что его отношение ко мне потеплело. Однажды я получил от него записку с приглашением позавтракать в отеле «Кларидж», где он останавливался, когда бывал в Лондоне. Общество собралось небольшое и не самое шикарное, и у меня создалось впечатление, что Эллиот ко мне примеривается. Однако, благодаря успеху моих пьес, у меня появилось много новых друзей, и мы стали встречаться чаще. Тут я как-то провел несколько осенних недель в Париже и встретил его у одних общих знакомых. Он спросил, где я остановился, и через несколько дней я снова получил приглашение на завтрак — на этот раз у него дома, а приехав, с удивлением убедился, что общество у него собралось самое изысканное. Мысленно я посмеялся. Мне было ясно, что с присущим ему безошибочным светским чутьем он сообразил, что в Англии я как писатель не бог весть какая персона, тогда как во Франции, где писателю создает престиж сама его

¹ Наш милый Эллиот (*фр.*).